

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. А. СКОЧИНСКОГО

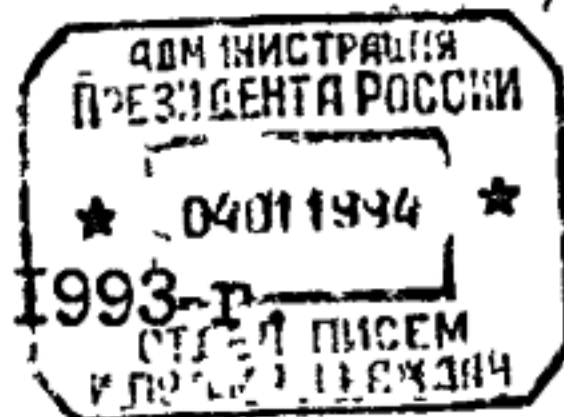
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ХОДОТ

ПРОФЕССОР,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

☎ 299-07-29 103006, МОСКВА К-6,
ул. КАРЕТНЫЙ РЯД, д. 5/10, кв. 50.

Москва, 27 декабря 1993 г.



Глубокоуважаемый и дорогой

Борис Николаевич !

Мы с женой очень старые люди, но с печальными мыслями о близком конце нашей жизни нас примиряет сознание того, что судьба нашей великой и несчастной России остается в сильных и чистых Ваших руках. Мы уверены, что вся думающая интеллигенция, все люди доброй воли, сохранившие сознание гражданского долга, с Вами. Размышляя о тяжёлом бремени ответственности за будущее нашей страны, которое Вы на себя взвалили, мы в Вашем подвиге видим продолжение традиций благородных собирателей земли Русской.

Нам стыдно за тех наших соотечественников, которые предали узников ГУЛАГ'а и героев Великой Отечественной Войны и пошли за ^{м,} сардельным фюрерим под барабанную дробь и посулы чечевичной похлёбки. Надеемся, что этот всплеск политической инфантильности или постыдного авантюризма не будет длительным...

Поздравляя Вас с наступающими праздниками, мы хотели бы сделать Вам новогодний подарок. Художник подарил бы Вам красочную картину, композитор - мелодичную пьесу; научный же труд - неподходящая к случаю материя. Поэтому шлем Вам небольшую повесть, из написанных по дорогим для нас воспоминаниям о событиях семидесятилетней давности. Может быть эта история развлечет Вас в минуты Вашего отдыха.

Администрация Президента РФ

АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА

М. М. Агаминой (по договору - рёшкетчи)

Отдел писем и приема граждан
Ю.Ф.Бородин тел. 206-46-64

Бородин 7.11.94

семье рождественские поздравления и женную заботу о Вашем здоровьи, сохранила благополучием всех нас, жителей планеты

ам Ольга Константиновна и Вл. Вл!

N 01850

Ходоты.

N 1918/413-21

21.MAP1994* 01850

12

В. В. ХОДОТ.

КРОНШТАДТСКИЙ МАТРОС.

КРОНШТАДСКИЙ МАТРОС

Федя то открывал неотдохнувшие за ночь глаза, то снова погружался все в тот же томительный сон: в зимние сумерки шел он под тяжелыми сводами коридора, бесконечно длинного и безлюдного, в старинном казённом здании. Редкие полуциркульные окна казались слепыми, нарисованными на стене тусклой синей краской. Лестницы, отходившие от коридора вверх и вниз, упирались в заколоченные досками двери. Кое где в полнакала горели лампочки. Холодная грязь покрывала каменный пол, пальцы голых ног месили её и скользили по ней. Выхода из коридора не было.

Сумерки перешли в темноту, серо-синие окна стали чёрно-синими, напротив одного из них обнаружилась застекленная дверь с большой медной ручкой. Из щели у порога шла ледяная струя воздуха с запахом подвала и ладана — от неё не было защиты: на Феде была только короткая ночная рубаха. Он взялся за ручку и вдруг почувствовал, что кто-то с другой стороны тихонько её поворачивает. Федя хотел незаметно отойти, но ноги свинцом налились и не слушались. Озноб от ужаса возник в глубине живота, затряс все тело, поднялся к сердцу... и Федя проснулся в насквозь промерзшем зале, под тремя грубошёрстными одеялами, тяжелыми, как глиняные блины.

Было все также темно; рядом с трещиной, расколовшей зеркальную гладь оконного стекла, мерцала звезда. О наступлении утра можно было судить по хлопнувшей где-то двери, по скрипу полозьев на набережной канала, по далёким заводским гудкам. Федя подтянул колени к самому подбородку, зарылся под одеяла с головой и поды-

шал в образовавшееся гнездо. Дрожь в животе, однако, не проходила, и Федя решил больше не откладывать погружение в холод давно не топленной комнаты. Он стал вытаскивать из сложенной у изголовья стопки фуфайку, брюки, носки, согревал их на груди и ^{на}девал, не вылезая из-под одеял. Начинаясь день 26 февраля 1921 года.

На работу можно было не спешить — освещение по утрам в контору не давали, но у Феде были свои причины поторапливаться. Папа Фальконетти обычно являлся в зал в валенках и енотовой шубе, под которой он проносил в кухню кусочки припрятанной еды — ломтик сала, хвостик воблы или блюдо со студнем. Буржуйка на кухне разжигалась книгами по искусствоведению, закопченный чайник шипел и дребезжал. К чаю, вернее, к кипятку выходили дочери: заспанная Леонора с веснушками на отёчном лице, обрамлённом патлами рыжих волос, по прозвищу "Мадам Шочалка", и Клита — угрюмая дева в платье с отложным воротничком и с осуждением в голодных, водянистых глазах.

К кипятку полагалось приходиться с выданными накануне порциями хлеба, но Леонора поведала весь свой рацион сразу и утром глотала горячую воду с сахаринном. Папа Фальконетти, в прошлом — владелец антикварного магазина, неизменно предлагал своему юному другу и жильцу Феде принять участие в утреннем завтраке и однажды даже налил ему кипятку в Кендлеровскую чашку Мейсенской мануфактуры, однако сахарина не дал. Федя избегал утреннего ритуала "каждый кушает свою пайку на своей бумажке".

Семикомнатная квартира Фальконетти выглядела неуютно, как карстовая пещера. Даже гардины были сняты — они пошли на изготовление ватных курток и на ^{ков}упаку фарфоровых ваз завода Сацума, пастушков и маркиз из саксонского Фарфора, гарднеровских и кузнецовских сервизов.

Ко дню рождения своей крестной^Т Федя, человек с самостоятельным заработком, решил приподнести ей скульптурную группу, которая, по словам Фальконетти, была изготовлена в 1783 году в Шантильи по рисунку Буше. Из золотой кареты, обвитой гирляндами хрупких цветов, выглядывала тоненькая дама в кружевном воздушном платье; кавалер в чулках цвета больной испанки склоняется^Л перед нею, откинув левую руку с поярковой шляпой. Впоследствии оказалось, что эта вещь изготовлена на Дулёвской фабрике, но, все равно, цену, назначенную папашей Фальконетти, нельзя было назвать высокой: фунт мокрого сахарного песка, стакан патоки и две пары носков — половина единого пайка. Крестной^Т, которая в это время болела дистрофией, карета из Шантильи очень понравилась; это было именно то, чего ей не хватало, сказала она Феде. Сделав первый шаг по пути коллекционера, Федя стал наводить папашу Фальконетти на разные истории, связанные с фальшивыми клеймами, подделками под старину и контрабандой датского фарфора. Однако старый хозяин не вполне доверял своему жильцу: во-первых Федя носил странные галифе из толстого серого драпа, обшитые в шагу чёрными суконными леями; во-вторых Федя, сын уважаемых родителей, называл Рембранта^А Рембраном. Папа Фальконетти не знал, что серые галифе были переделаны из единой гимназической шинели, а леи в прошлом были фракком единого отца, фракком, одетым один единственный раз — по случаю трехсотлетия дома Романовых. Что касается Рембрана, то Федя посчитал его французом.

Федя надел отцовские ботинки на пуговичках, которые можно было застегнуть только при помощи специального крючка. К его красивым буденовским галифе полагались кавалерийские сапоги, но их пришлось заменить бязевыми обмотками. Федя торопился:

уборная в квартире Фальконетти не действовала, а до конторы было версты две.

Услышав, что Федя встал, Папа Фальконетти осторожно вошел в зал. Двигался он осмотрительно, так как по всей квартире были расставлены водоуловители: Фанагорийская гидрия с античной трещиной /хорошая подделка Кольванской фабрики/, гусятница с остатками жирной копоти, ночной сосуд с отбитой ручкой и несколько жестяных банок. Сосуды были установлены точно в тех местах, где во время оттепели протекал потолок, поэтому их было сдвигать опасно.

Папа Фальконетти выразил надежду, что крепкий сон и приятные сновидения освежили Федю. Вдвоем они прошли в переднюю, на ощупь сняли с входной двери поперечную балку, заделанную в железные скобы, вытащили из проушины стальной крюк, отодвинули засов с хитрой насечкой под секретную отмычку, повернули два ржавых ключа в двух ржавых замках и Федя, наконец, очутился на лестнице, пропахшей до самого чердака кошками.

За дверь папа Фальконетти опять забаррикадировался на все запоры: по городу ~~каждым~~ попрыгунчики на стальных пружинах, с черными харями и грабили народ.

На улице было все еще темно. По-одиночке и группами шагали черные люди. В монотонный топот ног изредка врвался визг трамвайных колес, где-то на Конногвардейском бульваре. Федя в своем драповом пальто, полученном по наследству от старшего брата, промерз до самого позвоночника.

На мосту, над скованной льдом Невой, небо стало серо-зеленым и у встречных фигур обозначились бледные лица. Федя спустился с моста, повернул вдоль набережной и вышел к тому месту, где лежало на боку затонувшее осенью 1920 года госпитальное судно "Наро-

доволец".

Говорили, что огромный корабль перевернулся при неудачной попытке выровнять крен. Для поворота корабля в нормальное положение была создана специальная "Контора по подъему госпитального судна "Народоволец".

Контора помещалась в трехэтажном особняке Балтийского пароходства, выходящем фасадом на набережную. Зеркальные окна здания сохранились, пережив непонятным образом выстрел "Авроры", мятеж юнкеров и нашествие беспризорных детей. Отделанный под мрамор вестибюль был наполовину залит водой из лопнувшей трубы; ржавая вода, разливаясь по полу, замерзла, образуя ледовые террасы грязно-желтого цвета; выросший лед заблокировал все двери, кроме входной, которая не закрывалась.

Конторские помещения были заставлены стеллажами с папками из добротного картона. Контора отапливалась этими папками уже третий месяц, а убыль их была мало заметна. Регулярно обогревались только три комнаты: чуланчик без окон, но с буржуйкой, в котором жила уборщица, тетя Мотя, в прошлом баронесса Матильда фон унд^{цур} Мюлен, комната с^ф камином, где завхоз Шифманович развешивал пайковые крупы и воблу, и чертёжная, в которой были сосредоточены научные и технические силы Конторы: машинистка Клавоочка, страшный конструктор, ветеринарный фельдшер Капустин, чертежник Федя, которому хотелось научиться черчению, и двое неизвестных, приходивших в дни выдачи жалованья. Начальник конторы кавторанг Эмден, человек могучего телосложения, веселый и сероглазый, на службу приходил редко и, главным образом для дачи руководящих указаний Шифмановичу, которого ласково называл Шифмановичем.

Шифманович был зарядом энергии и движущей силой Конторы.

На бумажках с лиловым штампом он писал суровые отношения в Центробалт, Пролеткульт и другие инстанции, требуя выдачи гвоздей, селёдок, театральных билетов и мадеполамовых кальсон, необходимых для подъема госпитального судна. В списках на получение спичек и мороженой картошки скромный штат конторы превращался в многочисленное трудовое воинство, а в ежеквартальных отчетах отражался титанический труд поворота "Народовольца" на несколько градусов. Добытые товары Шифманович грузил на детские санки и сам доставлял в Контору, которая в таких случаях встречала его в полном составе. Благодаря Шифмановичу Контора спокойно смотрела в будущее и верила, что госпитальное судно когда-нибудь повернется в нормальное положение.

По утрам техническое ядро Конторы осуществляло рейд по ближайшим комнатам Балтийского пароходства, приносило сотни три папок и разжигало камин и буржуйку. Тетя Мотя фон унд цур Мюлен отправлялась на толкучку для обмена горсти проса на стакан гороха, фельдшер с Федей кипятили невскую воду и дразнили Клавочку:

Все ходят к Клавочке,
Все просят справочки,
На исходящих Клавочка сидит;
С утра до вечера
Ей делать нечего
И стул под Клавой жалобно трещит...

Иногда фельдшер уединялся с Клавочкой в чуланчик баронессы и оттуда слышались Клавины повизгивания.

Служба в Конторе была первой самостоятельной работой Феде; он получил ее по рекомендации своего бывшего учителя химии Евмения Евграфовича. Школу Федя кончал в тот год, когда ученики выпускного класса из-за нехватки педагогов изучали, кроме химии, только

хоровое пение, под руководством ктитора местного собора.

Евмений Евграфович классного журнала не вел, так как университетские оценки успеваемости были школьным советом отменены. Если на занятия приходили один Федя /это случалось иногда/, Евмений Евграфович читал ему свои стихи. Феде запомнились две строки:

Створилась тихо дверь.

Жди теперь, жди теперь!

По всем этим причинам Федя чертить не умел и с тревогой ожидал первого служебного задания.

К его удивлению техническая идея подъема "Народовольца" оказалась вполне понятной: водолазам поручалось закрепить тросы со стороны лежащего борта корабля, лебедки, установленные на набережной, должны были эти тросы натянуть и повернуть судно на 90°, а насосы в это время откачивали бы воду.

Фельдшер Капустин все это объяснил Феде на словах и поручил ему разработать конструкцию деревянных козел. Со смелостью отчаяния Федя погрузился в хаос технических проблем. То, что он изобразил на бумаге, было сочетанием логики, фантазии и открытием аксонометрических проекций. Фельдшер Капустин взял чертеж пальцами, вылезавшими из драных перчаток, рассмотрел его, сперва повернув вверх ногами, потом в нормальном положении и покачал головой. Шиманович тоже покачал головой. Клавочка и баронесса Мотя проект одобрили.

За пределами конторы по подъему "Народовольца" происходили события, также влиявшие на Федину жизнь, хотя и косвенно. Сейчас трудно воспроизвести, их точно, но должно быть они разворачивались так:

Утром 26 февраля начальник артиллерии Крондштатской крепости,

бывший генерал Козловский, осматривал броневые башни "Петропавловска". Солнце неярко светило сквозь морозную дымку, ровный снег покрывал ледовые поля Маркизовой Лужи и часть финского залива со стороны Пумала. От Ораниенбаума к Кронштату была наезжена дорога, по ней ползли одиночные чёрные фигурки и вдали еле двигался обоз. Козловский взял бинокль, направил его сперва на Красную Горку, потом — на Лебяжье и уехал хмурый, не отдав никаких распоряжений. Лёд держался крепко, Котлин всё ещё не становился островом, а демагоги, вроде Петриченко, выбалтывали на митингах планы восстания.

В своем редакторском кабинете на одной из тихих парижских улочек, с жаровней для каштанов в одном конце и букинистической лавкой — в другом, профессор Павел Николаевич Милюков 26 февраля написал передовую статью "Последних Новостей". В ней давалась трезвая оценка авантюристической политике господ Чернова и Савинкова в связи с сенсационными сообщениями французской печати о восстании в Кронштадте. Павел Николаевич указывал, что Советская Россия не может рухнуть от отдельных, плохо скоординированных ударов, хотя в общем плане политических акций, значение таких выступлений не следует преуменьшать. Нельзя недооценивать сил противника, как это позволил себе в недалёком прошлом генерал Юденич. Профессора с утра тревожила небольшая мигрень, признак повышения артериального давления. Кронштадтское восстание — по-видимому очередная утка будьварной прессы.

26 февраля барон Унгерн фон Штернберг посетил в Урге живого бога Богдо — Гэгэна и его супругу — мудрую и драгоценную княгиню. Барон постарался сократить ритуал взаимных пожеланий луче-

зарного здоровья и нескончаемого земного блаженства и потребовал исполнения обязательств по поставке овса для кавалерийских частей, занимавших Ургу. Богдо - Гэгэн с похвалой отозвался о смелости и мужестве крылатых воинов его превосходительства и перевел беседу на древнейшие заветы культа бодисатвы, бескорыстие лам и их отказ от земных страстей. Бобо - Гэгэн не знал, как близок барон Унгерн к нирване: через полгода ему предстоял расстрел по приговору советского военного трибунала.

Рабочий день 26 февраля в кабинете Ленина был таким же будничным, как и ^в предыдущие дни. Поток телеграмм, писем и газет шёл информация о больших и малых событиях. Под Черкетиной был окружен отряд махновцев в 300 сабель, с двумя теоретиками и небольшим публичным домом на колесах. На собрании мэров департамента Роны Эррио выступил за торговлю с Советской Россией; в него было брошено два тухлых яйца. Троцкий назвал оппортунизмом замену продразверстки натуральным налогом. Ходоки из Тамбовской губернии требовали срочно покончить с продразверсткой. Банды Антонова в Моршанском и Козловском уездах активизировались - перебили сельсоветчиков и продотрядовцев.

26 февраля было заключено соглашение с Ираном - первое из серии дружественных договоров со странами Востока.

Кроме того, в Кронштадте, видимо, готовился мятеж. Кронштадт! Если это и не колыбель русской революции, то один из ее самых ярких факелов. Кронштадские матросы, в черных робах и штиблетах, протоптавшие по Донецкой степи и Полесским болотам, по сибирским снегам и пескам Кара-Кума, - они такая же гордость революции, как путиловские металлисты и рабочие Красной Пресни.

Теперь они точили нож, направляя его в спину революции. Те,

что штурмовали Зимний, и те, что сражались под Каховкой. Люди из легенды.

"Пусть никто не воображает, что ореол былой славы дает индульгенцию политическим авантюристам. Господа левые эсеры должны быть предупреждены: предателям не будет пощады!"

В этот же день 26 февраля Шифманович привез на саночках мешок семян подсолнуха и каждый сотрудник конторы по подъему госпитального судна, независимо от занимаемой должности, получил по четыре фунта семечек. Федя решил отвезти это продовольствие в Ораниенбаум, где, в деревянном доме под старыми кленами, жила его семья. Показывать семечки папаше Фальконетти было опасно: он мог всучить за них Веджвудское блюдо или Делфтскую вазу — ароматницу. Поэтому Федя, по окончании рабочего дня, отправился прямо на Балтийский вокзал.

Там, где трамвайные рельсы поворачивали с набережной на мост, похаживало и попрыгивало на морозце несколько темных фигур. У большинства были мешки — перетянутые веревкой или притороченные, по солдатски, за плечами. В сумерках будущие попутчики присматривались друг к другу и намечали рубежи для прыжков. На подъеме к мосту трамвай замедлял ход, но число атакующих здесь было велико, попытку зацепиться за поручни следовало предпринимать раньше, еще на большой скорости.

Наконец вдали завизжали колеса, проворачиваясь на рельсах, показались вагоны трамвая, казавшиеся неосвещенными из-за наледи на окнах, и Федя побежал им навстречу, опередив других мешочников.

На передних и задних ступеньках вагонов висели черные грозди людей; Федя бежал рядом с одной из них, стараясь просунуть ле-

вую руку к поручню, за который мертвой хваткой держались десятки других рук. Когда ему удалось ухватить поручень, он несколько раз подскочил, занося левую ногу на обод кузова, но каждый раз нога не находила опоры и соскальзывала. Рядом бежали мешочки, толкаясь и матерясь. Уже на самом мосту Федя встал одной ногой на чью-то ногу и повис над самой землей, пронесившейся под ним в мелких вихрях колючего снега.

Теперь надо было продержаться как можно дольше. На остановках никто не сходил, человек, на чьей ноге держался Федя, молчал, скованный морозом. Федя на остановках только менял руку, боясь уступить осаждавшим трамвай одну из двух опор, на которых висел. Когда перегруженный трамвай, спотыкаясь и громыхая на стыках рельс, подошел к вокзалу, было уже темно. В морозном тумане кое где расплывались желтые пятна фонарей. В полутемном зале ожидания воздух казался неподвижным и густым от запахов портянок, махорки и человечины. По слухам, ближайший поезд на Ораниенбаум ~~был~~ должен ^{был} выйти часа через два. Федя нашел место у стены между чьими-то валенками и самодельными санками и сел на свой мешок. Бормотанье голосов, шарканье ног, тепло вемытых тел нагоняли дрему. Федя раза два выходил на перрон, каждый раз словно погружаясь в ледяную воду, но поезда не было. Вместе с двумя бабами, закутанными в два платка каждая, Федя пошел искать поезд на запасных путях. Долго блуждали они по шпалам, спотыкаясь о замерзшие испражнения, пока не набрали на паровоз, стоявший под парами. Машинист сказал, что если удастся поднять пар на сырой осине, то поезд скоро тронется.

Вагоны рабочего поезда не освещались. В одних вагонах стекла в окнах были выбиты, в других — заделаны фанерой. Большинство сидений не было занято, кое-где виднелись скрюченные молчаливые

фигуры, казавшиеся сгустками тьмы. По причине темноты и оцепенелой неподвижности, холод здесь был более свирепым, чем снаружи.

Федя прошел через два вагона. В одном из купе, похожем на стойло, оконное стекло оказалось целым. Федя влез на скамью с ногами и сжался в комок. Напротив него кто-то неподвижно сидел — может быть спал, может быть замерз.

Вагон дернулся, лязгнули сцепки, с третьей попытки паровоз, пытаясь, преодолел инерцию и поезд пополз мимо темных складов, станционных будок и одиноких фонарей. В луче одного из них Федя разглядел своего соседа; это был матрос в бескозырке и бушлате с поднятым воротником.

Поезд пробрался, постукивая, через сеть привокзальных стрелок, снег у железнодорожного полотна побелел и в вагоне стало немного светлее. За окном поплыли запорошенные снегом кресты, памятники и ограды городского кладбища. Матрос пошевелился и сказал сильным голосом: "Эти своё оттопали".

Феде стало жаль матроса: если в наследственном пальто на ватине леденела спина, то каково же было ему сидеть в бушлате и черных ботиночках ?

"Хотите семечек?"

"Спасибо, боюсь руки из карманов вытащить. А ты куда катишь, братишка ?"

" Я — в Ораниенбаум".

" А мне еще по льду через залив чимчиковать!"

"Вы же замерзнете ! "

" Да не в Кронштадт, а на рейд, к "Петропавловску!"

"Это крейсвр ?"

"Дредноут. Двадцать три тысячи тонн".

"Здорово!"

Матроса звали Андрей Жарков. Он второй год служил на линейном корабле "Петропавловск", том самом, который обстреливал Красную Горку; ^{матрос} сегодня задержался на Охте, у сестер Кибиткиных, выпил то ли ханжи, то ли политуры, и "мешанул" обеих.

Поезд долго стоял в Лигово, несколько раз паровоз судорожно дергал вагоны и снова набирал пар. За окном вьюжка поднимала пухлые снежинки. Скованный холодом Федя дремал и думал о том, как Андрей Жарков спустится на лед, как его прохватит ветер и как матрос, нагнув голову, будет пробиваться в белой мгле к невидимому Кронштадту.

Петергофский крытый вокзал с готической башенкой они проехали уже в двенадцатом часу.

"Знаете, что," сказал Федя, "идемте ночевать ко мне!"

"Спасибо, братишка. А не удивятся твои родичи ночному гостю?"

На Федю тоже нашли сомнения: придется будить весь дом среди ночи. Отец, прсмелваясь и приподнимая брови, попросит гостя войти — в таких случаях его барственная вежливость не сразу воспринималась как ирония. Галя вылезет из кровати и ее все будут гнать обратно, под одеяло. Антонина Ивановна с Антоном Ивановичем расстроятся: надо топить плиту и греть чай, а растопки мало; надо найти простыню, а они все рваные... Но отступать было поздно. Поезд подходил к станции Мартышкино, в вагон вошел закутанный в башлык кондуктор с фонарем, в котором оплывала и потрескивала свеча. Федя увидел бритое лицо матроса, его живые глаза, резкие очертания бровей и подбородка. Плечи, распиравшие бушлат, отгла-

женные брюки клёш, начищенные штилеты, не рассчитанные на тридцатиградуный мороз, внушали доверие.

Все обошлось лучше, чем можно было ожидать. Сперва они шли гуськом, по едва протоптанным в снегу тропкам, то и дело проваливаясь в целину, по пустым неосвещенным улицам. Ветер то бросал в лицо горсти ледяных иголок, то забираясь под одежду, то бросал вперед. Глухой ночью подошли они к дому с пятью темными окнами. Он казался нежилым. Завизжали ржавые петли дощатой калитки, во дворе обнаружилось заросшее изморозью, едва освещенное окно. Федя поднялся по трем ступенькам черного крыльца и постучал. После долгого ожидания заскрипели, застучали крюки и задвижки, сперва на внутренней двери, потом на наружной, женский голос дважды переспросил, кто стучит — свой или чужой. Федя с матросом прошли в сени, потоптались на месте, отряхивая снег, и вместе с облаками пара ввалились в кухню. У плиты, закутав тощие плечи платком, стояла Antonina Ивановна, поёживаясь, постукивала каблучками домашних туфель, настороженно улыбалась. Жарков отряхнул бескозырку, развязал шнурки на ботинках и, сняв их, оказался в белых, старательно заштопанных носках деревенской вязки. Такая аккуратность понравилась Антошине Ивановне. Она не стала будить Антона Ивановича, вытащила из-под ватного стеганого петуха кастрюлю с картофельной запеканкой, извлекла из духовки чайник с кипятком, настоянным на сушеных вишнях, и нацедила Жаркову почти полную рюмку разведенного спирта, которым лечила свою по-дагру.

Поскольку хозяин дома спал, пришлось разговаривать шепотом. Antonina Ивановна зажгла масляную коптилку, Федя с Жарковым по очереди сходили в уборную, в которой было сыро и холодно, как в погребе, поблагодарили Antoninu Ивановну и пошли через нетопленные

24
24

столовую, гостиную и коридор в дальнюю Федину комнату. Постель Феде была уже приготовлена; кроме того на кушетке были постланы чистая простыня с двумя заплатками, пикейное покрывало и овчинный тулуп Антона Ивановича. Подушку заменял диванный валик, завернутый в остатки наволочки. Жарков придвинул стул, положил на него свой клёш, бушлат, блузу и, побряхтывая от удовольствия, залез под тулуп.

" На сегодня ошвартовались, завтра будем дрейфовать."

" А что будет за опоздание ?"

" А ничего. Комиссару положено четьи = минеи прочтать, а боцман даст наряд гальюн чистить".

" Вы сами не комиссар ?"

" Я - полусознательный середняк. Мой батя под Кабановкой партизанил, а потом его в кулаки произвели."

" Где это, Кабановка ?"

" На земле Уральской, на реке Чусовой."

" У вашего отца усадьба ?"

" А ты думал ! Дворец тесовый, крытый половой, закута сви-
нячья, да конура собачья."

" Как же так ?"

" А вот как: батя с дробовиком на Пепеляевские пулеметы ходил, когда же домой пришел, комбед у него восемь мешков пшеницы нашел. Батя их и не прятал - они не краденые."

" Сколько это - мешок ?"

" Три пуда."

" Три пуда ! Это целый магазин белого хлеба !"

" Эх, братишка ! Ты книжки про богатую жизнь читал, а мы лес корчевали, землю ковыряли, потом её поливали, а урожай - дяде отдай. Для всеобщего будущего счастья. Это какое же оно будет, счастье? Медяшки драить через сознательную дисциплину? Так я лучше раков буду ловить на Марианских островах."

" Вы бывали на Марианских островах ?"

"Приходилось," ответил Жарков, помолчав.

"Как вы туда попали?"

"Это длинная история". Жарков поправил сползавший тулуп и заложил руки за голову. "В июльскую ночь 1918 года небольшая шхуна "Мурена" вышла из бухты "Золотой Рог", имея на борту команду из шести рабочих судоремонтных мастерских, пуда три хлеба, бачок воды и одного товарища, которого надо было доставить в Николаевск - на-Амуре. За шкипера у нас был старый рыбак Евлампий Косых, а судовой движок заводили все по очереди. Выход из бухты мы проскочили на малых оборотах и пошли на восток, прижимаясь к берегу, чтобы не напороться на японского сторожевика. С парусами умел управляться один дядя Евлампий, мы их из-за шквалистого ветра не ставили. "Мурена" шла бейдевиндом, перебиваясь с кормы на нос, пока на третьи сутки не заглох мотор; нашу посудину стало сносить на юго-восток. При сильной болтанке отремонтировать старый карбюраторный двигатель было трудно; как мы с ним ни бились, он не заработал.

В трюме стала подниматься вода и испортила наш хлеб. У товарища, которого мы везли в Николаевск, оказалась язва желудка. То ли от качки, то ли от солонины, началось у него кровотечение и мы не могли ему помочь. Мы хотели привалить его к койке, но он сказал, что лучше сдохнет, чем даст себя связать. Еще он сказал Евлампию, что глупо было выходить в море без команды и капитана. Дядя Евлампий выругался и стал поднимать кливер, а мы ему помогали, как могли. Под одним кливером мы опять пошли на север со скоростью пять узлов, то правым, то левым галсом. Те, кто не работал на палубе, откачивали воду из трюма.

Вода появилась и в каюте. Товарища мучил кровавый понос, убирать за ним было некому, он цеплялся за свою койку и терял

силы. Когда я заглянул в каюту, он катался по мокрому полу, а лицо у него было серое, как у покойника. Я хотел втащить его на койку, но он покачал головой. К вечеру того же дня он умер.

Поскольку идти в Николаевск нам было теперь ни к чему, мы развернулись, подняли грот и вошли назад фордевиндом. Дядя Евлампий еле держался на ногах, он никому не доверял руль, шли мы без огней, ориентируясь по ветру. Мы все тоже здорово измотались и заснули кто где мог.

Ночью раздался здоровый треск, шхуна дернулась и запрыгала на волнах, как дерьмо на мертвой зыби. Оказывается сломалась фокмачта и теперь волочилась за "Муреной" вместе с такелажем и парусами. Мы ничего умнее не придумали, как отрубить топорами всю снасть. Что делать дальше мы не знали, так как дяди Евлампия нигде не было видно. Смыло ли его волной, сбросило мачтой — этого никто не видел. Мы остались без капитана, без двигателя, с остатками рваных парусов.

Четверых ребят так укачало, что они легли в каюту шкипера и катались там вместе с покойником. Один слесарь покрепче и я по очереди начали воду, пока не свалились у помпы. Наше корыто несло к дьяволу на рога и осадка его увеличивалась.

Так прошел еще день. Покойник начал пухнуть, мы вытащили его за ноги на палубу и сбросили за борт. Воды в бачке осталось мало и мы решили выдавать ее по кружке в день, но из этого ничего не вышло. Один из парней нажрался солонины и так осатанел, что полез в драку, пробил бачок зубилом и остатки воды вытекли.

На седьме или восьмь сутки нашего плавания справа по борту показалась земля. На палубу выползла вся команда, мы размахивали тряпками и орали. Но "Мурену" пронесло мимо и все опять расползлись.

Шторм утих, но нас качало на мертвой зыби, хотя налитая водой "Мурена" стала тяжелой. Прошел дождь и мы лизали мокрую палубу.

На меня напала спячка. То ли во сне, то ли наяву увидел я на горизонте белый корабль. Потом я опять сомлеял и проснулся оттого, что слесарь укусил клепальщика за ногу. Океан еле катил волны, солнце разогрело палубу, как сковороду, и слепило глаза, отражаясь в медяшках. Со стороны штурвальной рубки плыл трупный дух: там лежали двое.

Потом были часы или месяцы, сквозь закрытые веки светило красное солнце или черным чернела ночь и жизнь из меня уходила по капле, и никак не могла досякнуть. Последние обрывки сознания патыкались на какие-то толчки — как потом оказалось, полузатонувшая "Мурена" билась о береговые рифы...

Когда я снова стал соображать, то почувствовал под собой тюфяк, от которого пахло сеном. В хижине с бамбуковыми стенами была приятная прохлада, воздух свободно проходил через кровлю из больших листьев. У изголовья моей лежанки стояла миска с белой горьковатой жидкостью, похожей на молоко, и лежало несколько бананов. Между стволами бамбука и под циновками шуршали насекомые, а снаружи цокали, кудактали и стрекотали птицы. В дверном проеме виднелись зеленые джунгли, ствол пальмы и синее небо. Где-то вблизи волны набегали с нарастающим шумом и шурша откатывались. На душе был полный штиль.

Вошла девочка лет пятнадцати, загорелая, как ржаной сухарь: все было коричневым, даже глаза, только толстые губы да повязка на бедрах были красными. Я хотел узнать, что с моими товарищами и спросил:

"Камарадос? Комред?"

Девочка сделала ускользающее движение, потом словно накрыла чье-то тело саваном и зажмурила глаза. Мне показалось, что она меня поняла и что дальнейшие мои ^сраспросы бесполезны. Она взяла маску и вышла из хижины. Из-за стены потянуло дымком и печеной рыбой.

Пока девочка возилась с обедом, меня навестили два человека, каждый — ростом с аршин. Они были похожи на коричневые дыньки, молча меня рассмотрели и также молча ушли. Я заснул под потрескивание горящих дров, а когда снова открыл глаза, было темно, в четырехугольнике открытой двери сияли звезды и кто-то рядом похрапывал.

На утро хозяин хижины, молодой безбородый туземец, помог мне встать и дойти до ^скутов за хижинной. На опушке леса стояли еще десятка два таких же хижин, около одной из них сидели женщины в пестрых шальях; между домиками бродили куры, такие же, как и в моем Конакове. Я был еще слаб, чуть было не стравил и хозяин втащил меня обратно на лежанку. Звали его как-то вроде Пхонг, а девочку — Таехити, она была его женой.

Я пролежал несколько дней, Таехити кормила меня кокосовым молоком, папайей и печеным мясом. Боли в животе прошли, я встал на ноги и стал помогать Таехити в домашней работе.

Она была несложной. В хижине было четыре тюфяка, накрытых одеялами, пестрыми, как крылья попугая; на них можно было спать или сидеть за низким столиком. Глиняные миски и кружки помещались в деревянном некрашеном шкафчике, на стене висело чучело большого ящера — панголина. Черные с красным узором циновки покрывали земляной пол; так же циновкой закрывался во время дождя дверной проем.

Гальюн располагался шагах в тридцати от домика, около большого валуна, защищавшего от северного ветра; через яму были переброшены связанные жерди, сбоку — заготовлена кучка рыхлой земли и лопаточка с красной ручкой. В хижинах и вокруг них было чертовски чисто: даже куриное дерьмо собиралось и относилось в огород.

С утра Пхонг, если волна была не слишком высокой, уходил на своей пироге ловить рыбу или собирать урожай кокосовых орехов на соседних островках. Если штормило, он шел работать на общинную плантацию или на свой огород, где росли батат и таро — порядочная дрянь, вроде мороженой картошки.

Таехити вставала поздно и первым делом топала к морю. Она не боялась ни волн, ни акул и плавала, как дельфин. Потом она готовила жратвишку — десяток блюд на детских блюдечках — креветки, ломтики вяленого банана, кусочки свежеспросоленной рыбы, лепешки с каким-то маслом. Она надевала, вместо робы, красный передничек из тапы, который часто сбивался в сторону. Ходила она неслышно, как кошка, мурлыкала про себя смешные песенки, хихикала, поглядывая на меня.

Иногда к нам приходила целая стайка ребятшек. Таехити кормила их, вытирала мокрые носы и задки.

Я узнал, что в деревне детей растят сообща, их кормят в любой хижине, чем больше их приходит, тем больше чести хозяевам.

Хозяйством деревенской общины заправляла Старейшая Мать, приходившаяся бабкой половине деревни. Она вела счет дням, отработанным на плантациях, распределяла налоги, торговалась с большим начальством и хранила ключи от складов с копррой.

Часть денег, полученных от колонистов, она отдавала Стар-

шему Охотнику, который заведывал ^{о/} ружьями, порохом и дробью и был, по совместительству, начальником полиции. Вождем деревни был один из прямых потомков Бога Плодородия, который находился в родстве с Иисусом Христом. Вождь работал наравне со всеми, за исключением случаев, когда ему приходилось беседовать с душами предков или лечить прокаженных отварами из трав. В тяжелых случаях слепоты или шишек на лбу / это значило - амба/, вождь прописывал яд кобры найфа, болящего сперва поили настоем мака, чтобы он обалдел, потом вводили яд таким же способом, как у нас прививают оспу, и он давал дуба.

Семейные свары разбирал Совет Женщин. Совет Мужчин решал вопросы войны, охоты и судил за убийства и кражи. Штрафника выгоняли из общины на время или навсегда, если он появлялся раньше дозволенного срока, любой член общины мог его убить бесплатно.

Узнал я кое что и о свадьбах. Если девке не понравилась семейная жизнь, она могла вернуться к родителям и опять считалась девкой. Если недоволен был мужик, он мог бросить семью, но обязан был оставить бабе свою хату.

Таехити ко мне привыкла и разгуливала по саду в чем мать родила. Я показал ей на Пхонга и изобразил ворчание цепного пса. Таехити это понравилось, она завертелась вокруг меня, толкая то плечом, то кормой и показала, как будет рычать Пхонг. Не знаю, чем бы все кончилось с этой хитрой девчонкой, если бы я не ушел с Пхонгом на огород.

Мне показалось, что его товарищи и он работают с ленцой. Мы разделявали грядки, работа для меня была привычной и я наработал за день больше, чем трое туземцев. Когда я, обливаясь потом, лег на траву, Пхонг покачал головой, втянул щеки и изобразил мою смерть от истощения. Ребята смотрели на эту комедию и ржали. Все

это означало, что труд должен быть удовольствием, а не мукой.

Вождь предложил отправить меня на лодке на остров, где находилась фактория белых. Я не знал, кого я там встречу — японцев, англичан или французоз и, на всякий случай, отказался. Я постарался объяснить, что хочу отработать свой долг хозяевам острова. Туземцы удивились и подняли порядочный галдеж. Таехити, повидимому, предложила готовить для меня харч, но Пхонг дал ей затрецину. Она тут же запустила в своего мужичка рыбой головой. В конце концов мне сделали выкидыш из дома Пхонга и заставили построить себе особняк из бамбука и соломы. Вся деревня помогала строить и на третий день, по случаю, окончания работ, был устроен сабантуй.

На большом костре запекли двух тунцов, обложили их травами и разлили по мискам хмельную настойку цвета манго. Женщины и мужчины вышли на освещенную костром площадку и часа два покачивались на раскоряченных ногах под криканье дудок и грохот барабаничков. Вождь напялил колпак из змеиной кожи и птичьих перьев и тоже походил по кругу на согнутых ногах. Мне пришлось одеть свои драные ботинки и оторвать чечётку. Старейшей Матери понравилось плясать вприсядку и она чуть не свалилась в костер.

На утро Таехити пришла помогать мне по хозяйству, но я ее прогнал. Мужчины взяли меня с собой на ловлю жемчуга. Плавал я неплохо, но так глубоко нырять, как они, я не умел. От соленой воды глаза у меня стали слезиться а, выходя на песчаный берег, я напоролся на бородавчатку. Нога распухла, как тещин язык, меня начало трясти. Старейшая Мать ставила мне примочки из трав, остальные жители приходили навещать. Они принесли утиные яйца, соломенную циновку и красивую жестянку из-под консервов. Привели

даже двух невест — одной было тринадцать лет, другой — побольше.

Кулацкого нутра у этих людей не было. Женщины обменивались мужьями и кусками материи для юбочек. Земля давала им плоды, океан — рыбу; за околицей жили души их предков, которые по ночам бродили вокруг курятников, пугая пацанов и предсказывая будущее. Народ был бы доволен, если бы не два свинства, которые ему здорово мешали: проказа и миссионеры.

Проказой болели старики и дети, она передавалась от жен мужьям, от одной хижины к другой. Одни привыкли к ней и терпели её, как чесотку, у других она разъедала глотку, покрывала тело язвами, вырастала буграми на лбу; от больных воняло, но на это никто не обижался; считалось, что проказа — такая же нормальная пакость, как и старость.

Хуже были миссионеры; им все не нравилось: и парни слишком голые, и девки слишком весёлые, и старики больно головатые, на подарки храму божию не тароватые. А сами они были жирные, как палтусы и прожорливые, как пираньи. Проказой болели не все, от миссионеров некуда было спрятаться, к воротам рая они вели все стадо, скопом.

Я выучил десятка три туземных слов и их хватало почти на все случаи жизни. Ослепительное солнце и испарения джунглей нагоняли сонную одурь, ночью мокрый ветер и кваканье лягушек не давали спать.

Однажды, спускаясь с гор по руслу ручья, протекавшего через нашу деревню, я почувствовал знакомый дух, вроде пришедший из далекого прошлого. При выходе в долину я увидел на тропке следы солдатских сапог. Я пробрался к опушке леса и стал наблюдать. Посередине деревни, на площадке, где обычно разжигался костёр,

несколько мужчин в серых робах собирали какую-то конструкцию, другие тянули шланг к ручью.

Шагах в двухстах от площадки, в тени хлебного дерева, укрывшись отделение солдат с ручным пулеметом. Мужчина в пробковом шлеме разговаривал со Старейшей Матерью, их окружали жители деревни и размахивали руками.

Я подошел поближе и смешался с толпой, стараясь понять, что произошло. Пхонг стоял неподвижно, придерживая за ремень старую одностволку. Таехити вертелась среди рабочих и притворно вскрикивала, когда ее шлепали пониже спины.

Старейшая Мать объясняла через переводчика, что деревня полностью уплатила налоги и начальник не должен сердиться. Мужчина в пробковом шлеме, ^{по}видимому англичанин, пожал плечами. Налоги его не интересовали. У него было предписание — расчистить площадку под склад. Жители смогут сдавать копру прямо на месте; кроме того потребуются грузчики, которым будут хорошо платить. Англичанин говорил медленно, с одышкой, останавливался и с натугой ^{вдохнул} ~~вдохнул~~. Спина его чесучевой блузы была мокрой от пота. Белки глаз были желтыми, под глазами висели мешки. Он, видимо, был нездоров и с нетерпением ждал, когда рабочие кончат устанавливать палатку.

Старейшая Мать сказала, что на этом месте жили ее предки и предки ее предков, нигде поблизости нет другого такого места, защищенного от ветров, с тихой бухтой и светлым ручьем; за бамбуковой рощей похоронены ее отец и мать и многие другие уважаемые люди; здешнюю землю люди деревни возделывают многие множества лет.

Англичанин приказал переводчику передать всем жителям, что в ближайшие два дня придут машины, будут рыть котлован и прокла-

дывать дорогу. Деревню надо перенести в течении недели, для этого будут выделены два трактора. Толпа зашумела и сгрудилась вокруг англичанина; к нему подошли сержант и несколько солдат, а оставшиеся у пулемета взяли туземцев на прицел. Англичанин добавил, что если хижины не будут разобраны, их сроят бульдозеры.

Я видел, как Пхонг снял с плеча свою одностволку. Если бы она выстрелила, в следующую секунду пулеметная очередь скосила бы всю толпу. Я схватил Пхонга за локоть, но он вырвался от меня и отошел. Внезапно люди смолкли. От Большой хижины к месту переговоров шел вождь. Не обратив внимания на приветствие англичанина, он остановился перед своими людьми и сделал им знак разойтись. Также молча он удалился в сопровождении Старейшей Матери и Старшего Охотника. Я вернулся в свой новый дом и стал ждать.

Между тем в центре деревни выросли две палатки, солдаты устроили себе шалаш, сержант выставил два поста и в лагере пришельцев задымили костры. В деревне было тихо, только женщины перебегали из одной хижины в другую, да ребята стайками уходили вдоль берега.

Красное, как сырое мясо, солнце село в океан, в джунглях громче заивкали жабы. Англичане запели вполголоса песню, похожую на псалом. Небо из розового стало зеленоватым, темно-синим, почти черным и на нем засверкали звезды. Я задремал.

Вдруг грохнул выстрел, эхо его повторило дважды. В глаза мне засветил огонь, я увидел как одна из хижин вспыхнула и загорелась, словно сигнальная ракета. В соседних домках тоже показались дым и пламя. Солдаты внизу открыли пальбу, рабочие разбежались в стороны от костра. Все больше хижин горело ярким пламенем, освещая качающиеся пальмы. Тушить пожар было некому - в деревне, видимо,

не осталось ни одного жителя. Я пополз по траве к лесу, добрался до ручья и пошел по его руслу. Со стороны деревни раздались еще несколько выстрелов, потом стало тихо. Слышно было как журчала вода на перекатах и шуршали в зарослях ночные твари. Долго я плутал, вздрагивая от треска сухих веток, спотыкаясь с сплетения корней и лиан. Я выбрался из ущелья, поднялся на небольшую террасу и огляделся. На том месте, где еще недавно была деревня и бушевал пожар, там и сям дотлевали остатки жилищ, казавшиеся угольками в черной золе. К запаху прелых листьев и болота примешивался горький запах дыма. Я был один под звездным небом в джунглях чужой земли, отвергнутый ее людьми, преследуемый ее завоевателями, чужой ее зверям и птицам."

Федя давно дремал, посапывая носом; когда наступило молчание он проснулся и наугад спросил:

"Ну, и куда же вы пошли?"

Жарков ответил не сразу:

"Итти мне было недалеко: из Публичной библиотеки на Балтийский вокзал, с заходом на Сенной рынок. Матрос молодой, в ногу раненный, торговал на Сенной воблой жареной. Вот и все мое путешествие".

В комнате стало тихо. Матрос дышал медленно и глубоко, Федя всхрапывал и причмокивал губами.

Утром Федя проснулся поздно. За окном сучья старых лип гнулись под тяжестью свежего снега, солнце зажигало искорки на снежинках.

Матроса не было, на кушетке были аккуратно сложены простыня, тулупчик и валик, сверху положен клочок бумаги с надписью — "Спасибо". Здесь ночевал настоящий матрос с "Петропавловска" — Федя

от удовольствия покряхтел. "Наверное он минер", подумал Федя.

За дверью поскреблась Галя. Ей очень хотелось узнать, кто ночевал у Феде. Она покрутилась около кушетки с прибранной постелью и стала рассказывать о домашних делах: Антон Иванович утром ходил кормить поросенка Муську и перепугался; Муська ночью раскидала стропила своего сарайчика и ушел. А потом он сам пришел завтракать. Галя с подружками влезли через окно в соседний "казенный" дом. Они притащили в угловую комнату стулья и устроили себе будуар. Под окном проходил сторож, девчонки залезли в пустой шкаф и просидели в нем, пока не замерзли. А когда вылезали в окно, как раз наскочили на сторожа.

"А в парке нашли мертвую ворону и хотели ее похоронить. Но земля крепкая, пришлось закопать в снег, поставить снежный крест и полить его водой. Весной будут настоящие похороны, дастанем паникадило. А кто это у тебя был?"

"Так, знакомый минер", небрежно ответил Федя.

За завтраком, кроме обычного "чемоданного" хлеба /прозванного так за верхнюю горелую корку/, был подан жареный подслнух. Николай Густавович вспоминал, щелкая семечками, как он в трудные дни командировки в Италию питался семенами пиний Рима, где он, как стипендиат Академии художеств, изучал Варрона и Витрувия. Большим знатоком Варрона считался Александр Бенуа. Он же был автором семейных игральных карт, на которых четыре брата Бенуа изображали королей, их жены - королев, а сыновья - валетов. Альберт Бенуа - тончайший акварелист - терпеть не мог хлыщей. Однажды в вагоне поезда он отбивался от назойливых приглашений на музыкальный вечер; его собеседник - не то купчик, не то - кондитер - рассказывал на французско-нижегородском наречии, как будет

весело...

"Э вотр фрер шантра / и ваш брат споет/," воскликнул он.

"Шантра-па", ответил Венуа. "Николай Густавович победоносно оглядел сидевших за столом, Антонина Ивановна и Антон Иванович посмеялись. Антон Иванович собрал хлебные крошки в ладошку, вытряхнул их в рот и сообщил, что Советской власти скоро будет конец.

"Ну, ты уж скажешь, Тоша!" сконфузилась за своего судруга Антонина Ивановна.

"Ты не знаешь, Тося, а споришь. Приходил один чухонец из Мартышкина и рассказывал, что в Кронштадте на кораблях митинги, требуют совдепов без большевиков и свободной продажи хлеба. Как только лед стает, корабли пойдут на Петроград и ему крышка."

"Как интересно", подумала Галя, "весь город с Исаакиевским собором - под крышккой. На улицах темно, сухо и пахнет поджарками. Попрошусь к Федору в город!"

Николай Густавович задумался.

"Быть может устами чухонцев глаголет бог. Орудия на "Севастополе" могут разбить Смольный в щепки. Только может ли пройти дредноут по морскому каналу? Подумать только - князь Кропоткин матросикам полюбился! Как бы они своих комиссаров вдогонку за офицерами не отправили. Ну что-же, "Ты этого хотел, Жорж Данден". Посиди ка ты, Федя, дома пока не кончится это пронунсиаменто," и Николай Густавович встал из-за стола, потирая руки, как всегда, когда разговор кончался округлой фразой. "Кстати, что за фрукт ночевал у тебя сегодня?"

"Один приятель, минер с "Петропавловска".

"С этого самого?"

"Да, конечно!"

Антон Иванович встревожился.

"Как же тыпустил его без прописки, если узнает уполномоченный по дому, будут большие неприятности. И ты, Тося, никому даже не сказала!"

Антонина Ивановна от обиды постучала каблучком по ножке стула.

"Тебя, Тоша, ночью и пушкой не разбудишь".

Николай Густавович отнесся к происшествию спокойно.

"Ну, один минер — это ничего. Вофт если Федя в следующий раз приведет с собой команду тяжелого крейсера, нам будет труднее. Когда же твои приятели собираются на Фонтанку водку пить?"

Феде предложение побыть ~~некоторое время~~ дома понравилось. Он уже несколько месяцев жил на положении самостоятельного голодного человека на квартире у папаши Фальконетти и с удовольствием думал о картофельных запеканках Антонины Ивановны. Кроме того, ему хотелось вспомнить детство, побродить по парку и сходить на лыжах в Петергоф. Он даже готов был пилить осину в паре с Антоном Ивановичем, хотя это было занятием ^{нелепым} никчемным: вопреки всем стараниям пилу перекашивало, она застревала и Антон Иванович изобрел ^{та} разные приспособления чтобы разрезать бревно до конца и при этом забавно ругался "Едондер — шип". На этом работа обычно и кончалась. Осина была сырой и разжечь ее все равно было невозможно.

Сразу после утреннего завтрака Федя с Галей пошли проведать Муську, который их уже ждал. Муську выпустили из загончика и для начала нарекли Храмовником. Галя и Федя взяли по лыжной палке и стали — первая рыцарем Фрон де Бёфом, второй — Черным Ленивцем. Храмовник побежал, похрюкивая, в конец сада, опустил пятак и, упершись в снег всеми четырьмя копытцами, приготовился к нападе-

нию. С пиками наперевес на него мчались Фрон де Бёф и Черный Ленивец. Храмовник щелкнул зубами, отскочил в сторону и большими прыжками пошел по снежной целине. Но Фрон де Бёф уже бежал ему наперерез по тропинке, а Черный Ленивец отрезал путь к отступлению. Бесстрашный Храмовник свернул^к коричневыми глазками, бросился на Ленивца и укусил его за ляжку. Это было так неожиданно, что рыцарь едва не свалился с коня. Пришлось вернуться в комнаты, чтобы осмотреть повреждения. Челюсти Храмовника были сильны: на коже оказался двойной синяк, по форме точно отображавший Муськин прикус.

В наказание Муська был переведен в бизоны. Галя превратилась в индейского вождя, а Федя — в старого траппера Джошуа. На вооружение, вместо лыжных палок, была взята бельевая веревка и охотники пошли по следу бизона, пытаясь набросить на него лассо. Все трое гоняли по саду до тех пор, пока старому трапперу Джошуа не удалось набросить петлю на свирепое животное. Почувствовав опасность, бизон хотел выскочить из петли, но она при этом проскочила с шеи на грудь. Вождь индейцев заматал конец лассо вокруг старой липы и намертво укрепил его, а так как бизон, отчаянно визжа, рвал веревку, петля все туже затягивалась на его плотном брюшке и ослабить ее было невозможно. Бизон свалился на бок и захрипел. Перепуганные Джошуа и вождь призвали Антона Ивановича; тот схватил бритву, ножницы и прибежал как раз во время, чтобы освободить задыхавшегося Муську. Возмущенный Антон Иванович только открывал рот и прикладывал ладони к груди. Муська же быстро оправился, встряхнул свою короткую щетинку и заявил, что готов продолжать спортивные игры.

Прогулка на лыжах не состоялась — в доме были только детские лыжи, коротенькие и узкие, из которых Федя давно вырос.

Последующие несколько дней прошли для Феди в тихой, дремотной скуке. Он забирался в нетопленный кабинет Николая Густавовича, закутывался в одеяло и листал "Памятники греческой и римской скульптуры" Брунна и Брухмана, подолгу разглядывая обнаженных диан, афродит и психей. На случай, если бы кто-нибудь застал его за этим постыдным занятием, у него наготове лежали атлас мира и несколько томов Альберти о зодчестве. Божественная красота античных скульптур оставалась для Феди немой; плоть, запертая в мрамор, уплощенная и обесцвеченная на репродукциях, воспринималась как бледный символ несбыточных восторгов, возбуждала желания — острые, неуголимые и бесплодные. Эти желания, претворявшиеся в грубые физиологические акты, такие же, как у лошадей, или коров, были унизительны и неотвязны. Они не будили воображения, не доставляли радости; все было просто, как у подопытных собак Павлова: покажи еду — потечет слюна. Где-то был же другой мир, где эта живая плоть вдохновляла поэта на стихи о Прекрасной Даме, а великого Фредерика — на сотворение вальса до-диез минор, опус 64?

Федя уходил из кабинета отца опустошенный, оступевший, с тяжелой головой, одевал подшитые войлоком валенки и направлялся бродить в регулярный парк к старому Меншиковскому дворцу. Однажды он добрал до Петергофа, где Николай Густавович когда-то работал архитектором дворцового управления. В Нижний парк, куда Федю в детстве водили гулять, было трудно пройти, не было ни тропинок, ни лыжных следов, все было засыпано снегом.

Большой дворец стоял промерзший и ненужный, с осыпавшейся штукатуркой и потускневшим золотом корпуса под гербом с одной стороны и церковного купола — с другой. Кто черные окна назались нежрычими, как пустые глазницы. Удни статуи ковша Самсона были закрыты уродливыми ящиками, другие прятали позеленевшую бронзу

под снеговые горжетки и шапки, одетые набекрень. Всюду торчали ржавые сопла для водяных струй, словно скелет убогих декораций, которые в летний солнечный день должны были изображать праздник фонтанов.

Федя вспомнил такой летний день, когда пруды верхнего Петергофа наполнялись прозрачной, как стекло, водой, когда длинная трава в каналах и протоках увлекалась течением и шевелилась, как расчесанные зеленые волосы, когда весь Нижний парк наполнялся пением струй каскадов и фонтанов, водяные брызги относились ветром на кусты сирени, а во влажном воздухе бродили запахи болотных цветов и прелых листьев. Хотелось не отрываясь смотреть на пересечение водяных струй, сильных и тонких у основания, прозрачных, как газовый шарф, в апогее, пребывающих в вечном движении и вечно сохраняющих форму.

Вдоль главной аллеи парка, по боковой дорожке с рыхлым грунтом, скакали амазонки в черных цилиндрах в сопровождении ^{офицеров} Уланского и конно-гренадерского полков. На открытой эстраде вблизи Монплезира скрипачи и виолончелисты придворного симфонического оркестра в красных казакинах, синих шароварах и высоких сапогах настраивали свои инструменты. В программе значились "Вальс - фантазия" и "Шехерезада". Первая скрипка - маститый профессор Петербургской консерватории Завитновский, тоже был наряден в красный жупан и синие шаровары. Когда-то музыканты подавали прошение, чтобы им разрешили играть во фраках, но царь отказал. По правде сказать, Федя был с царем согласен. Синие шаровары ему очень нравились, в особенности на жандармах. Во время утренних прогулок по парку было приятно спрашивать у жандарма, который час; он неторопливо отодвигал борт кителя, залезал рукой в потайной карманчик, вытаскивал золотые часы на цепочке червонного золота

и легким нажимом на затвор откидывал крышку с дарственной надписью "За усердие". Если спрашивал мальчик — жандарм на прощанье ему улыбался, если бонна мальчика — он еще и козырял. Иногда тот же вопрос обращался к "гороховым пальто", которых Федя знал наперечет; они появлялись в Петергофе за две недели до приезда в Александрию государя — императора.

Музыку слушали, сидя на зеленых садовых скамейках перед эстрадой, гуляя по эспланаде или покоясь в медленно проезжавших по дальним аллеям экипажах. Проезжала в своем черном лакированном ландо и знакомая Николая Густавовича — Елена Альбертовна фон Кессель. На ее даче две комнаты с отдельным выходом в сад были отведены для кошек, за которыми ухаживала специальная горничная; она трижды в день опрыскивала комнаты и прилегающую часть сада одеколоном, чтобы заглушить кошачий дух.

Таким — солнечным, нарядным и счастливым, был Петергоф детских лет Феи. Теперь его дворцы, беседки, фонтаны и скульптуры медленно разрушались, а голодные обыватели вели торговлю с чухонцами окрестных деревень — меняли старые платья и суконные мундиры на картофель...

6-го марта Федя получил открытку из Кронштадта:

"Здравствуйте Федор!

Пишет известный вам Андрей Жарков. Дошел я хорошо, братва на корабль стравила без звука. У нас тут порядочная болтанка, все митингуем. Может не придется свидеться, хороших людей помнить буду. А что я вам рассказывал, это конечно глупости, но "Мурена" такая была.

Кланяется вам

А.Жарков "

На следующий день Федя пошел побродить по старым любимым местам — вокруг Китайского дворца. Гений Ринальди нашел для строительства этого маленького шедевра удивительные формы: это не было ни барокко с его монументальной помпезностью, ни рококо с его блистательной и капризной изысканностью, ни классицизм с его строгим членением архитектурных форм. Это была манера, в которой общая композиция и ее детали были отобраны с безукоризненным вкусом из трех стилей, нечто простое и изящное, насмешливо-электрическое и наивно парадное, маленький увеселительный дворец с торжественным порталом, над которым не было тяжеловесного купола, но легкая пологая кровля с карнизом, местами изогнутым наподобие раковины. Глаз ласкала соразмерность всех частей здания, начиная от скромного антаблемента над главным входом и кончая чугунной решеткой, протянутой вдоль фасада, как пояс из черных кружев.

Федя очистил от снега скамейку в конце эспланады, сел и стал смотреть на архитектурное чудо с тем бездумным удовлетворением, с каким созерцают совершенные произведения искусства.

Отдаленные глухие взрывы пробудили его от эстетических грёз. Удиночные выстрелы вскоре перешли в канонаду: место стрельбы трудно было определить — это могли быть форты на Котлине, корабли на рейде или мыс Серая Лошадь.

Когда Федя шагал домой, мимо него прошла на рысях батарея конной артиллерии. Она направилась к высоте позади Ураниенбаума. Туда побежали Минька Косой, Сиволдай, Сопатый и другие мальчишки из соседних дворов. Федя тоже направился к тому месту, где распряженные кони жевали сено и можно было устроить наблюдательный пункт.

Ближайшая к Феде пушка разорвала воздух сокрушающим ревом,

изрыгнула пламя и замерла, высоко задрал ствол в ожидании следующего выстрела. Остальные орудия повторили маневр. Ммилька Косой объяснил, что пушки стреляют по Кронштадту с закрытых позиций, которые они будут менять; если их нащупают двенадцатидюймовки с "Петропавловска", то от батареи останутся подошвы и сопки. Федя плохо слышал, уши после первого выстрела были заложены ватой. Все маленькие события его личной жизни потускнели; эти пушки, посылавшие тяжелые снаряды через город и залив в расчетные квадраты невидимой крепости, где будут взлетать на воздух броневая сталь, бетон и люди — покорили его своей мощью. Холодея от восторга он слушал команду "огонь" и наблюдал работу артиллеристов. Казалось, из стволов игновенно вырастал бронированный кулак на конце гигантской руки и бил по далекому форту, как молот по наковальне. Федя чувствовал себя участником великопных событий. Возвращаться домой не хотелось и Федя с Сопатым пошли в сторону школы, в которой разместилась какая-то большая воинская часть. По дороге Сопатый нашел гранату — "лимонку" — тяжелое яйцо с чугунной скорлупой, аккуратно нарезанное на квадратики, и сунул ее в карман; тяжелая вещьца приятно его оттягивала.

Мальчики спустились в подвал, миновали котельную и поднялись по внутренней лестнице на первый этаж. Обычный школьный запах хлора и аммиака был подавлен крепким духом солдатских портянок и мокрых шинелей, от которых несло псиной. В классах парты были сдвинуты, на полу спали красноармейцы. В конце коридора стояли детские санки с привязанным к ним станковым пулеметом, двое из сидевших около санок красноармейцев ели хлеб. Мальчишки подошли к пулемету, Сопатый украдкой потрогал крепенькие колеса.

"Дяденька, вы на Кронштадт идете?"

"Идем к такой-то матери в пекло", отвечал раздутый дядя с

небритой седой щетиной, продолжая жевать хлеб. Парнишка, лет восемнадцати на вид, в обмотках, плохо наверхнутых на тощие ноги, приподнялся на локте, тоскливо посмотрел на мальчиков и снова привалился головой к стене. Щепинистый дядя посмотрел на ломоть хлеба в его руке.

"Жрать будешь?"

Парень покачал головой.

"Ну, давай сюда, чего добру пропадать".

Остропосый солдатик с чирьем на шее и склоненной на бок головой заметил:

"В пустом брюхе пуля чище".

"Пуля в брюхе, считай аминь."

"Запел Лазаря!"

"Радости мало. В ту войну хоть в окопы, как крысы, закрывались, а на льду куда зароешься?"

"О, господи, скорее бы уж, хоть один конец".

"Что, Вася, это тебе не женский батальон. Клешнички народ серьезный!"

Парнишка в сбившихся обмотках отвернулся к стене; казалось его тошнило.

К красноармейцам подошел человек со звездочкой на кожаной фуражке, видимо комиссар.

"Мы сами серьезные и разговорчики эти ты брось. Нефедов, иди на двор, получи маскхалаты", и он отошел, придерживая болтавшуюся на боку деревянную кобуру.

"И никуда не денешься", вздохнул Нефедов.

Мальчики постояли, потом спустились по главной лестнице и молча прошли мимо часового.

Канонада продолжалась. Стреляли, видимо, не только пушки

войсковой артиллерии, но и тяжелые орудия Красной Горки. Со стороны Кронштадта отвечали южные форты и линейные корабли. Через Ораниенбаум прошло еще несколько батальонов пехоты. Вечером подтянулись кухни и части медицинского обслуживания. Улицы городка были темны, ставни на окнах закрыты, щели в ставнях всю ночь светились.

Утром восьмого марта обитатели дома под кленами были разбужены стуком в калитку. Антон Иванович, одев тулуп и подштаники, старался рассмотреть в окно, что делается на улице. Муська испуганно визжала в своем загончике. Николай Густавович надел шубу, каракулевую шапку и пошел отворять. Он вернулся на кухню в сопровождении высокого командира в буденовке и длинной кавалерийской шинели и комиссара, которого Федя узнал по кожаной фуражке. Командир хотел получить ключи от дворца: надо было размещать раненных, которых прибывало все больше после ночной неудачной атаки.

"А школа?" спросил Николай Густавович.

"Уже забита."

"Но дворец не отапливается."

"Разве в нем нет печей?"

"Печи то есть, но, видите ли, они не топились много лет, их надо долго разжигать, изразцы могут вывалиться..."

"Ну и что же?"

"Это старинные муравленые изразцы, совершенно уникальные."

"У меня тяжело раненные."

"Если сейчас нагреть помещения, сырость погубит картины; там есть Ротари и даже подлинник Тьеполо!"

"Вы понимаете, о чем вы говорите? Гибнут люди, живые люди, в то время как мы здесь болтаем..."

"Постройка этого дворца, выделка шелковых обоев, настилка декоративных паркетов тоже стоили жизни многим людям!"

Комиссар положил руку на кобуру своего маузера.

"Давайте ключи!"

Командир поморщился.

"Подожди, Семен. У вас есть какие —нибудь предложения?"

"Я думаю, что раненных надо везти в Петергоф. Туда не больше получаса езды гужевым транспортом. Там большая больница, две гимназии и десятка два казенных домов, которые можно оборудовать под госпиталь. Здесь же, пока вы обогреете дворец, раненные сутки будут на морозе. Они замерзнут."

"Может быть он прав, а, Семен?"

"Все равно, я хочу посмотреть сам."

"Я отдам ключи только по письменному распоряжению Горсовета."

Комиссар стиснул ладонью попавшуюся ему под руку бульонную чашку Антонины Ивановны; чашка хрустнула, как яичная скорлупа.

Командир сердито сказал:

"Даю вам честное слово, что распоряжение вам будет написано. А теперь пройдите с товарищем и покажите ему ваше хозяйство. § Что касается Петергофа, я все выясню сам."

Раненных с залива везли в кибитках, на телегах, несли на носилках и волокли на тесинах. Федя подошел к дровням, на которых лежали двое красноармейцев, укрытых шинелями. У одного голова была забинтована целиком, напоминая кочан капусты; в сплетении бинтов было оставлено отверстие для рта, через которое дыхание вырывалось со свистом. У второго фуражка съехала на бок, открыв коротко остриженные, светлые как лен, волосы, голова болталась из стороны в сторону на дорожных ухабах, широко открытые глаза смотрели в небо, уже безразличные к боли, людям и жизни.

Кафонада прекратилась, бледное солнце залило легким весенним теплом снеговые поля, снег начал оседать и сереть.

В последующие дни городок дремал, погруженный в обычную тихую скуку, ночью в его узких улицах и низких домиках билась тревожная жизнь. Уходили на лед бесшумные группы разведчиков в белых халатах. Тихо повкрипывая на снегу, проезжали фуры, нагруженные ящиками со снарядами и патронами. В приморской части города разместились два эскадрона кавалерийского полка. В мастерской по ремонту кастрюль и чайников ставились на лыжи станковые пулеметы. На черном обшарпанном автомобиле приехало какое-то начальство и через час последовало в сторону Лебяжьего. В квартирах хозяйки кипятили чайники, стирали рубашки и портянки, кто за спасибо, а кто — за горсть сухарей. Болтали, что на штурм Кронштадта пойдут делегаты большевистского съезда с каким-то новым оружием. Кронштадт молчал.

16-го марта в штаб дивизии привели двух пленных матросов. Они шли неторопливо, широко расставляя ноги в расклещенных^{ен} брюках, окруженные красноармейцами с винтовками наперевес. У одного из матросов лицо было в кровоподтеках и с уха капала кровь, другой поддерживал правой рукой перебитую левую. Оба были похожи на Андрея Жаркова.

Вечером на городок, на побережье, на Финский залив опустился туман. Тишина на пустых улицах стала злобещей. Около двух часов ночи отряды немых призраков спустились на лед, ушли в северном и северо-западном направлениях и растворились в тумане. За отрядами разведчиков и передового охранения неслышно прошагали штурмовые колонны, прошла, тихо цокая копытами, конница, вытянулись тремя длинными змеями вторые эшелоны, резервные батальоны, санитарные части. Туман спустился как занавес за последним фургонем, ночь и тишина чуть всколыхнулись и вновь замерли.

И тогда в далекой темноте беззвездной ночи вновь стал нарастать гул канонады. Она то распадалась на глухие одиночные удары, то превращалась в немолчное грохотание, но все время усиливалась, охватывая все большую дугу от северных фортов, через Толбухин маяк и до Красной Горки. Во время коротких пауз доносилась негромкая трескотня винтовок и пулеметов. По мере того, как рассветало, тревожное становилось на улицах прифронтного городка. Торопливо проходили штабные работники, пробежали связные, в сторону Мартышкина провели группу матросов, из дома в дом поползли разные слухи.

Говорили, что кронштадцы окружили Котлин цепью прожекторов: ночью была такая иллюминация, что мышь не пробежала бы незамеченной. Береговые батареи подпустили пехотный полк II-й дивизии к самому Кронштадту и полностью уничтожили его картечью. Матросы вышли навстречу передовым частям, молча бросились в штыки и всех перекололи. Штурмовая бригада попала под обстрел фугасными снарядами; лед был взломан и бригада, вместе со взводом артиллерии и полковым оркестром, ушла на дно Финского залива. На улицах Кронштадта горы трупов: прорвавшиеся курсантов расстреливали пулеметным огнем из окон и с крыш домов. К Кронштадту пробиваются английские крейсера. Из Гельсингфорса восставшим матросам прислали ледокол с Выборгскими кренделями.

Много было разговоров о "Петропавловске". Его артиллерия сметала под лед целые взводы пехоты, барахтавшейся в мокром снегу, на "Петропавловске" заседал кронштадский ревком, его матросы в последний день мятежа восстали против генерала Козловского. С "Петропавловска", сидя в броневой башне, вел прицельный огонь Андрей Жарков, он ходил в атаку, примкнув японский штык к своей трехлинейке, он выходил с белым флагом парламентаря из ворот Минной школы, чтобы сообщить: кронштадский ревком бежал

на финский берег, матросы сдаются...

19-го марта жители дома под кленами встали раньше обычного. Федя выглянул на двор, а потом походил по улице в ожидании новостей. Он увидел, как к калитке их дома подошел бородатый красноармеец в солдатской папахе времен империалистической войны. На его плече болталась винтовка. Красноармеец осмотрел дом, сверил его номер с зажатой в кулак запиской и спросил у Феда, здесь ли живет архитектор; слово это он произнес по слогам. Федя решил про себя, что солдата зовут Бородулин.

Приход вооруженного красноармейца усилил тревогу в доме. Бородулин уселся в кухне на табурет, поставил винтовку между коленями и извлек из кармана вытертой шинели кисет с махоркой. Антонина Ивановна принесла вепельницу, а Антон Иванович — спички, но Бородулин приткрыл дверцу печки, прикурил от уголька и сплюнул в печку же.

Николай Густавович появился в кухне несколько бледный, но при галстукке и тщательно причесанный. Бородулин потребовал у него документик — "кто он есть". Антон Иванович метнулся было в комнаты, но Николай Густавович остановил его спокойным жестом и протянул Бородулину трудовую книжку. Галя, сдерживая слезы, схватила отца за полу пиджака. Бородулин окутался махорочным дымом и принялся изучать первые страницы трудовой книжки. Чтение, по-видимому, не принесло ему удовлетворения, но он все же расстегнул шинель и вынул из-за пазухи помятый конверт.

"Так что выезжаем в девять", сообщил он, передавая Николаю Густавовичу конверт и книжку. В конверте было два листочка линованной бумаги, вырванных из тетради и отмеченных лиловыми штампами. Обе бумажки были написаны в стиле тех героических лет, когда слова были энергичными, чернила расплывались, а знаки

препинания отсутствовали.

В одной из бумажек Николаю Густавовичу предписывалось выехать в сопровождении "подателя сего" в Кронштадтский укреп-район в распоряжение начальника Строительного управления, вторая бумажка была пропуском. Хотя цель командировки оставалась неясной, на душах Антонины Ивановны и Антона Ивановича стало легче и они расспросили Бородулина — на чем, на какой срок будет отправлен Николай Густавович и какое ему будет положено питание. Выяснилось: повезут Николая Густавовича кобылка Аннушка и Бородулин;

пак выписан на трое суток;

что в том пайке, пока не известно.

Николай Густавович спросил Бородулина, будет ли он сторожить его, или охранять. Бородулин ответил: "Там будет видно."

Когда он ушел, Антон Иванович посоветовал Николаю Густавовичу сказать больным. Это предложение было, после недолгого обсуждения отвергнуто: чтобы болезнь была убедительной, Николаю Густавовичу следовало принять Бородулина в постели. Антонина Ивановна сказала, что Николая Густавовича нельзя одного отпустить в Кронштадт, где, возможно, нет ни дров, ни керосина и не на чем скипятить чай. Антон Иванович предложил сопровождать Николая Густавовича, но всем было ясно, что въезд в зону ^{военных} действий двух незнакомых мужчин по одному пропуску покажется подозрительным. В конце-концов решили:

в пропуск вписать фиолетовыми чернилами "и сын его Федор", и отправить Федю с отцом;

Николаю Густавовичу каракулевою шапку и шубу на меху не одевать, а нарядить его в овчинный тулупчик, под которым спал Андрей Жарков;

прихватить с собой стакан нюхательного табака, в качестве обменного фонда.

Бородулин опоздал на час с лишним, зато возок оказался с теплой полостью, хлеба было выдано полторы буханки, Аннушка получила много овса и была согласна часть его отдать на кашу. Трудно было уговорить Бородулина захватить Федю, но приписка к мандату была сделана аккуратно, Бородулин получил зажигалку и дело уладилось.

Николай Густавович, почувствовавший в себе, благодаря тулупу, нечто офицерское, упругим шагом проследовал к возу^к, Федя, полностью сознавая свою ответственность, сел рядом с отцом, Аннушка согласилась стронуть возок с места и Антонина Ивановна покрестила санки длинной серией мелких крестиков.

Дорога по льду, обычно припорошенная снегом и едва отмеченная чистыми следами полозьев, на этот раз резко выделялась грязью, втопанной в ледяное крошево сапогами прошедших здесь воинских частей. Валялись обрывки газет и листовок, оторванные подметки, недокуренные сигарки, посередине и по обочинам оранжево расплывались пятна мочи, большие и редкие — от лошадей, малые и частые — от людей. Кое-где попадались стреляные гильзы патронов. Путь боевых дивизий был отмечен, как русло горного потока, — каймой пены.

Впереди показался обоз. На крестьянских дровнях везли странные квадратные ящики, размером аршина три, высотой не больше аршина. Сколоченные они были из тесаа и прикрыты сверху тесовыми щитами.

Бородулин погнал свою кобылку в объезд, но как только сани свернули на целину, Аннушка увязла в мокром снегу. Бородулин дал ей отдохнуть, щелкнул по крупу вожжами и снова разогнал свой возок; на этот раз он попытался проскочить мимо дровней впри-тирку, не съезжая с дороги. Возок ударился о ящик, сдвинул те-

совый щит, Аннушка захрапела и шарахнулась в сторону, чуть не вывалив седоков.

Сладковатый, тошнотворный запах, который Федя уловил, когда нагоняли обоз, усилился. Под сдвинутым щитом виден был остекленевший глаз на желтом восковом лице с открытым ртом и запекшейся на зубах кровью. Рядом с головой покойника была положена рука, оторванная от чьего-то тела вместе с рукавом гимнастерки. Через щель можно было рассмотреть и другие головы, ноги и руки. Квадратный ящик оказался большим гробом. На его передней части сидела баба с опухшим лицом и, помаживая кнутом, пела сиплым голосом:

"Эх, яблочко, ты куды котисси,
Под клёш попадешь, не воротисси!"

Пришлось пристроить возок в хвост обозу. Дровни двигались медленно, баба то и дело слезала и поправляла съезжавший на бок тяжелый ящик.

"Далеко ли везешь, тетка?" спросил Бородулин.

"В гузно", охотно ответила тетка. Она покачивалась и мотала нетрезвой головой.

"Я под клёшем была, воротилася,
Девять месяцев ждала, разрешилася!"

"Подайся в сторону, дай объехать, мать твою так то!"

"Сам подавайся, вшивая борода, попадешь, куда надо!"

Бабка показала кнутом на широкую полынью в стороне от дороги. По её краям виднелись грязно-белые кочки, а черная вода казалась окном в бездну. Когда возок подошел к полынью, оказалось, что белые кочки — тела красноармейцев в маскировочных халатах. Видно, их накрыл снаряд, часть убитых и раненных ушла под лед, других разбросало взрывной волной. У двоих халаты были в бурях

пятнах. Поодаль от этой группы человек шесть лежали ничком, подогнув руки и ноги, словно мёртвые продолжали ползти. Должно быть штурмовая колонна была обнаружена лучом прожектора. Один из ползущих все еще тащил веревку от санок, изуродованный "максим" лежал рядом.

Николай Густавович снял шапку и вышел из возка. Его длинные седые волосы художника упали на глаза и затрепетали от ветра.

Чем ближе к Кронштадту, тем больше становилось следов сирепой бойни. Путь преграждала открытая вода — лед был изломан и закопчен взрывами снарядов. У кромки полыньи отряд курсантов в новеньких шинелях был прижат к воде и побит в ближнем бою: они лежали, почти все — головой к Кронштадту, в сомкнутом строю, прикрывая друг друга, как полагается бойцам регулярной Красной Армии. Наверное бросок матросов в атаку был яростен — штыки их все еще стремились вперед. Только один матрос лежал навзничь: пуля прожгла дыру в его тельняшке, пробила грудь и погнала кровь через рот, нос и уши, задыхаясь, матрос рванул на себе бушлат — далеко отлетели пуговицы.

Теперь искаженные злобой и болью лица, куски тел с торчащими костями лежали недвижно, как восковые муляжи.

Они лежали врозь или тесными рядами; молодые парни из Черкас и Барнаула, из Мещёрских деревень и с Валдайских холмов, с лихими чубами или коротко стриженные, русские парни в красноармейских шинелях или краснофлотских бушлатах. Был ли среди них и Андрей Жарков, знакомый клёшник из Кронштадта? Лежит ли он, вмерзая затылком в грязную снеговую кашу, или уже затолкали его, бритым лицом вниз, в ящик с мертвецами? Или плавает его тело с растопыренными руками и ногами подо льдом, ударяясь снизу о зеркальную поверхность и тихонько вращаясь после каждого

удара ? О чем думал он, когда свинцовой тяжестью наливалось его тело и в последний раз отразилось в его глазах кронштадтское небо? Не о той ли лазоревой стране сверкающих рифов и пенных волн, где он никогда не был и которую он уже никогда не посетит ?

Этого Феде не суждено было узнать.

Абрамцево 1970 г.



01850/484